

Научная статья

УДК 82.0

DOI 10.25205/1818-7919-2025-24-9-127-137

Дискурсная структура наррации в романах Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» и «Generation “П”»

Алексей Игоревич Силантьев

Новосибирский государственный педагогический университет
Новосибирск, Россия

as14100@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6263-512X>

Аннотация

Дискурсная структура наррации в романе Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» включает: а) нарративную речь героя (конкретного нарратора) с элементами речи потенциального абстрактного нарратора; б) образ советского (послереволюционного) дискурса, раскрытый в диегезисе первичного нарратива; в) постсоветский дискурс, с которым сопряжена идеологически принятая и поэтически выстроенная автором нарративная стратегия деконструкции советского; г) разоблачающую метапозицию автора. Центральное положение в структуре наррации в романе «Generation “П”» занимает речь абстрактного нарратора. Постсоветский дискурс в романе двунаправлен – во-первых, на фрагменты советского как в плане диегезиса, так и в плане языка, во-вторых, на диегетический и языковой мир постсоветского как такового. Постсоветский дискурс в романах Пелевина не только деконструирует диегетический мир и дискурс советского, но также критически оценивает сам себя, и за этим стоит моральная и аналитическая позиция автора.

Ключевые слова

Виктор Пелевин, «Чапаев и Пустота», «Generation “П”», наррация, постсоветский дискурс

Для цитирования

Силантьев А. И. Дискурсная структура наррации в романах Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» и «Generation “П”» // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2025. Т. 24, № 9: Филология. С. 127–137. DOI 10.25205/1818-7919-2025-24-9-127-137

The Discourse Structure of Narration in Victor Pelevin’s Novels “Chapaev and Pustota” and “Generation P”

Aleksey I. Silantev

Novosibirsk State Pedagogical University
Novosibirsk, Russian Federation

as14100@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6263-512X>

Abstract

Purpose. To analyze the discursive structure of narration in the novels by Viktor Pelevin “Chapaev and Pustota” and “Generation P”.

© Силантьев А. И., 2025

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2025. Т. 24, № 9: Филология. С. 127–137
Vestnik NSU. Series: History and Philology, 2025, vol. 24, no. 9: Philology, pp. 127–137

Results. The discursive structure of narration in the novel “Chapaev and Pustota” includes the following levels: the narrative speech of the hero (a concrete narrator) with elements of speech of a potential abstract narrator; the image of the Soviet (Soviet-era) discourse, revealed in the diegesis of the primary narrative; post-Soviet discourse, which is associated with the narrative strategy of deconstructing the Soviet in the novel; and the revealing meta-position of the author. The central position in the narrative structure revealed in the novel “Generation P” is occupied by the speech of the abstract narrator. The Soviet discourse here is not self-sufficient, but is presented as an image of discourse. This is explained by an epochal shift: this discourse is in the stage of irreversible disintegration, and the author, when constructing the text of the novel, works with its residual fragments. The post-Soviet discourse itself is expressed both in the speech of the characters and in the speech of the abstract narrator, in the structure of which direct authorial inclusions of moral assessment are visible. At the same time, the post-Soviet discourse in the novel “Generation P” is bi-directional – focusing firstly, on fragments of the Soviet, discourses (both diegetically and linguistically), and secondly, on the diegetic and linguistic world of the post-Soviet period.

Conclusion. The post-Soviet discourse in Victor Pelevin’s novels not only deconstructs the diegetic world and discourse of the Soviet, but also critically evaluates itself, and behind this lies both the moral and analytical position of the author.

Keywords

Victor Pelevin, “Chapaev and Pustota”, “Generation P”, narration, post-Soviet discourse

For citation

Silantev A. I. The Discourse Structure of Narration in Victor Pelevin’s Novels “Chapaev and Pustota” and “Generation P”. *Vestnik NSU. Series: History and Philology*, 2025, vol. 24, no. 9: Philology, pp. 127–137. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2025-24-9-127-137

Закономерный вопрос, возникающий при чтении романа «Чапаев и Пустота», касается отношения сюжетов героя как пациента психбольницы и как участника гражданской войны. «Кажется, что Пелевину совершенно не важно, которая из “реальностей” Петра настоящая, – пишет Г. В. Емельянова, – и поиск единственно правильного ответа на этот вопрос он оставляет читателю» [Емельянова, 2012, с. 107]¹. В первом сюжете в первичности психической болезни героя (и вторичности сюжета Гражданской войны как шизофренического бреда) его убеждает психиатр Тимур Тимурович. Во втором сюжете командир Петра Пустоты Чапаев уверяет героя в том, что психбольница ему снится, и советует герою вести максимально подробные записи о его жизни в военных реалиях. Эти же записи Тимур Тимурович трактует как характерный пример письменных практик шизофреников. В целом для читателя перемежающиеся картины романа предстают как сложная игра самоотражения сознания Петра Пустоты:

– Простите, не понял, – сказал я, – что, мое воспаленное сознание порождает кошмар, или само сознание является порождением кошмара?

– Это одно и то же, – махнул рукой Чапаев. – Все эти построения нужны только для того, чтобы избавиться от них навсегда. Где бы ты ни оказался, живи по законам того мира, в который ты попал, и используй сами эти законы, чтобы освободиться от них. Выписывайся из больницы, Петька (с. 338)².

Выйти из этого замкнутого круга можно, если перевести вопрос в плоскость дискурсного анализа. Самоотражение – это нормальное функциональное состояние дискурса, который отражает себя в различных текстах и только таким образом воспроизводит себя и развивает. С этой точки зрения Петр Пустота – это не антропоморфный герой, а дискурсивный, или, точнее, дискурсоморфный. Это значит, что в позиции героя романа находится сам дискурс, принимающий различные текстовые воплощения, что в целом, конечно, отвечает постмодер-

¹ См. также: «В своих произведениях Пелевин с легкостью создает одну, другую, третью картины мира, которые пересекаются, накладываются друг на друга. Герои, такие как, например, Петр Пустота, существуют сразу в нескольких мирах» [Чебоненко, 2011, с. 167]. Ср.: «У В. О. Пелевина идеальный герой – это герой *вне солипцизма*, то есть такой герой, который осознает иллюзорность как собственного индивидуального сознания, так и окружающего мира (примером тому служит образ Петьки, который в какой-то момент понимает, что Чапаев – это его вымысел и все с ним происходящее – это вымысел, реальность – это та лечебница, в которой он находится, но даже она нереальна, так как мир устроил некий Котовский)» [Комовская, 2014, с. 93].

² Здесь и далее текст цитируется по изданию (Пелевин, 2019) с указанием страниц в круглых скобках.

нистской стратегии поэтики романа. При этом поскольку дискурс романа по определению самого жанра не может быть изолирующим, но, напротив, является синтезирующим, то закономерным следствием доминирования и протагонирования романного дискурса в «Чапаеве и Пустоте» становится явление совмещения и взаимодействия дискурсов. В рамках такого подхода становится понятным и художественный статус других персонажей романа – это не более чем воплощения или «действующие лица» различных дискурсов, их репрезентанты, разряженные в мифофантастические одежды реплик, развернутых высказываний и сознаний как таковых – в сюжете Гражданской войны это Чапаев, Юнгern, Анка, Котовский и др.³, в сюжете психиатрической больницы – Тимур Тимурович и братья Петра по палате. При этом своеобразными медиаторами между двумя сюжетами выступают гротескные матросы-санитары Жербунов и Барболин.

Ключевая особенность романа заключается в том, что дискурс, обретающий изначальные формы в первичной нарративной речи героя, в своих сюжетных самоотражениях эмансипируется и становится дискурсом романа как такового, в наррации которого сам герой нередко растворяется, исчезает, и позиция конкретного нарратора объективно замещается позицией нарратора абстрактного. Эмансипированный от первичного нарратора и генерализованный дискурс в своем интенциональном и тематическом спектре может быть квалифицирован, в частности, как постсоветский дискурс. Подчеркнем при этом, что постсоветский дискурс у Пелевина, в отличие от «Палисандрии» Саши Соколова [Силантьев, 2025], не является главенствующим, встраиваясь в конструируемое автором сплетение и смешение дискурсов.

Но есть ли вообще такая точка в тексте, в которой взаимоотражение дискурсов в романе приходит к нулю и, соответственно, к абсолюту? Ответим на этот вопрос утвердительно: это сам Петр, который Пустота, в буддийском смысле данного термина⁴. В пустоте, в нуле заключается абсолют и закономерная остановка дискурса. Более того, пустота объявляется в романе не только коммуникативным, но и эстетическим абсолютом, одновременно являющимся абсолютом сознания: по утверждению Чапаева, «любая форма – это пустота», а «пустота – это любая форма» (с. 384). При этом в абсолютной точке нуля (пустоты = Пустоты) происходит уравнивание диегетических миров романа:

...я, именно я, стоявший рядом с этим непонятным человеком (да и человеком ли?), и был той возможностью, тем единственным способом, которым все эти психбольницы и гражданские войны приходили в мир (с. 279).

Таким образом, пустота, становящаяся в романном дискурсе, в итоге «материализуется» в измерении поэтики произведения и становится его ключевым сюжетогенным мотивом [Сейдашова, 2017].

В целом дискурсная структура наррации в романе включает следующие уровни и составляющие: а) нарративную речь героя (речь первичного, или конкретного нарратора) с элементами речи потенциального абстрактного нарратора; б) образ советского (послереволюционного) дискурса, раскрытый в диегезисе первичного нарратива; в) постсоветский дискурс, внедряющийся в первичный нарратив и наделенный волею автора всеми существенными свойствами и инструментами – иронией, сарказмом, деконструкцией и др.; г) сквозящую в первичном нарративе героя разоблачающую метапозицию автора.

Стилистика первичного нарратива в изобразительном плане точна и взвешена, и тому есть прямая мотивировка: Петр Пустота в аспекте сюжета Гражданской войны выступает в качестве опытного литератора – известного поэта-декадента. Однако наррация не менее точна и в соотношенном сюжете психиатрической больницы, в котором Петр является не писателем, а несчастным пациентом, угнетенным шизофреническими состояниями, – хотя, казалось бы, качество нарративной речи и сама структура ее фокализации должны деградировать. Объяс-

³ Ср.: «В «Чапаеве и Пустоте» сам Чапаев, Котовский и Черный Барон имеют косвенное отношение к человеческому роду» [Сорокина, 2010, с. 183].

⁴ О буддийских смыслах и аллюзиях в романе см.: [Чебоненко, 2011; Попковский, 2014].

нение заключается в том, что первичная наррация в романе на самом деле проникнута возможной речью абстрактного нарратора, которая волею автора не ограничена персонажными форматами фокализации и стилевых аспектов. Именно этим неявным синтезом объясняется богатая стилистика первичной наррации романа и расширенная фокализация, очевидно не укладывающаяся в объем точки зрения персонажа, особенно в его больничном бытии.

Нарративная речь героя-повествователя характеризуется интенцией эмоционально умеренного объективирующего разоблачения раннесоветского (послереволюционного) мира в его романном диегезисе:

Бронзовый Пушкин казался чуть печальней, чем обычно – оттого, наверно, что на груди у него висел красный фартук с надписью: «Да здравствует первая годовщина Революции». Но никакого желания пронизировать по поводу того, что здравствовать предлагалось годовщине, а революция была написана через «ять», у меня не было – за последнее время я имел много возможностей разглядеть демонический лик, который прятался за всеми этими короткими нелепицами на красном (с. 11).

Вместе с тем развертывание фокализации в речи первичного нарратора может быть намеренно противоречивым, оксюморонным, и в этом также ощущается присутствие авторского конструирующего начала:

Подхватив фон Эрнена под руки, я поволок его по коридору <...>, но замер в дверях. Несмотря на разгром и запустение, здесь еще видны были следы прежней, озаренной довоенным светом жизни. Это была бывшая детская – у стены стояли две маленькие кровати с легкими бамбуковыми ограждениями, а на стене углем были нарисованы лошадь и усатое лицо (отчего-то я подумал о декабристах). На полу лежал красный резиновый мяч – увидев его, я сразу закрыл дверь и потащил фон Эрнена дальше (с. 23).

В целом раннесоветское в диегетическом мире романа волею автора не ограничено только объектной стороной – в повествовании явлен образ самого дискурса раннесоветского.

Этот дискурсный образ в диегезисе романа реализуется в первую очередь в речи Чапаева, временами тонко стилизованной автором под его канонический образ хитрого простака и правдоруба. Стилизация раннесоветского дискурса развертывается, в частности, в сцене с луковицами, легко пародирующей соответствующий эпизод известного советского кинофильма, а в финальных сценах романа подвергающейся, в свою очередь, пародии – но уже резкой, вплоть до полной анекдотизации хрестоматийной истории про картофелины Чапаева.

Собственно постсоветский дискурс, в отличие от раннесоветского, формируется не в диегетическом мире романа как целостный образ, но, напротив, извне, в пространстве авторской творческой ауры. Он строится на идеологически принятой и поэтически выстроенной автором нарративной стратегии деконструкции советского в романе и воздействует на нарративную речь героя и ее диегезис посредством иронии, сарказма, пародии и стратегии деконструкции в целом.

При этом данный дискурс в романе «Чапаев и Пустота», в соответствии с общей риторической конструкцией произведения, выступает как арена собственных отражений, на что мы указывали выше в связи с особенностями сюжетного строения романа и ментальных состояний его героя.

Чапаев так наставляет героя:

...если ты поймешь, что абсолютно всё, происходящее с тобой – это просто сон, тогда будет совершенно неважно, что тебе приснится (с. 262).

Череда вложенных друг в друга снов – это в то же время и формула дискурса с чередой вложенных друга в друга текстов, и подспудно перед читателем возникает ключевой вопрос: можно ли прийти к первотексту и вырваться из власти дискурса, или же, согласно известной формуле, цель – ничто, а движение – все? Для нашего ракурса важно то, что в романе постсоветский дискурс постоянно отражает в себе себя, захватывая при этом, вбирая фрагменты советского дискурса и советского (в том числе послереволюционного) мира, отражая их

в ироническом, саркастическом, фантасмагорическом свете. В итоге постсоветский дискурс в своих диететических отражениях деконструирует сам себя (в частности, в варианте рекламных текстов):

...на крышах знакомых домов <...> зажигались огромные электрические надписи на каком-то диком волапоке – «SAMSUNG», «OCA-CO A», «OLBI» (с. 403).

В рамках общей деконструирующей стратегии постсоветского дискурса, непосредственно сопряженного с авторским началом произведения, образы дискурсов диететического мира послереволюционного (или раннесоветского) в рамках первичной наррации Петра Пустоты оказываются расщепленными, подверженными ироническому смешению речестилевых манер.

Крайне примечателен в этом отношении псевдонародный язык, на котором Чапаев обращается к солдатам:

Только бы дело свое не посрамить – то-то оно, дело-то!.. Как есть одному без другого никак не устоять... А ежели у вас кисель пойдет – какая она будет война?.. Надо, значит, идти – вот и весь сказ, такая моя командирская зарука⁵... (с. 101).

На вопрос Петра о том, что же такое «зарука», комдив отвечает вполне в духе ключевого правила риторика агональной коммуникации⁶:

...когда приходится говорить с массой, совершенно неважно, понимаешь ли сам произносимые слова. Важно, чтобы их понимали другие. Нужно просто отразить ожидания толпы (с. 103–104).

Таким образом, первичный нарратив героя в целом оказывается охвачен тотальным воздействием постсоветского дискурса. Вместе с тем в нарративах романа нередко сквозит и позиция автора, в первую очередь в оценочно-коннотативном плане. Так, перед отправкой поезда на фронт Петр Пустота глядит на чапаевских солдат глазами автора:

Было тяжело смотреть на этих людей и представлять себе мрачные маршруты их судеб. Они были обмануты с детства, и, в сущности, для них ничего не изменилось из-за того, что теперь их обманывали по-другому, но топорность, издевательская примитивность этих обманов – и старых, и новых – поистине была бесчеловечна (с. 101–102).

Центральное положение в дискурсной структуре наррации в романе «Generation “П”» занимает речь абстрактного нарратора. Как и в романе «Чапаев и Пустота», советский (позднесоветский) дискурс не является самодостаточным, а развернут в качестве образа дискурса. Это объясняется эпохальным сдвигом: данный дискурс находится в стадии безвозвратного распада. По существу, автор при конструировании текста романа работает с остаточными фрагментами этого дискурса. Собственно постсоветский дискурс, с которым, напомним, сопряжена идеологически принятая и поэтически выстроенная автором нарративная стратегия деконструкции советского в романе, находит свое выражение: а) в речи персонажей; б) в речи абстрактного нарратора, в дискурсной структуре которого просматриваются авторские включения; в) в структуре текстов рекламного дискурса, конструируемого автором, и в том числе через нарративную инстанцию персонажей. При этом постсоветский дискурс в романе «Generation “П”» двунаправлен – во-первых, на фрагменты советского как в плане диегезиса, так и в плане языка, во-вторых, на диететический и языковой мир постсоветского.

Речь абстрактного нарратора конструируется автором как вполне нейтральная и вместе с тем наполненная ироническими замечаниями и пассажами – см., например:

Как только вечность (советская. – А. С.) исчезла, Татарский оказался в настоящем (с. 17)⁷.

⁵ По наблюдению В. И. Демина, «речь главного героя “Чапаева и Пустоты” представляет собой ироническое переосмысление и искаженное утрирование высказываний Чапаева у Фурманова: Пелевин практически дословно заимствует фрагменты из “Чапаева”, иронически переворачивая и обыгрывая их» [Демин, 2015, с. 96].

⁶ «Ритор в пространстве агональной коммуникации не может лгать, поскольку всякая ложь проверяема, не может говорить истины, поскольку в отличие от лжи проверить истину невозможно, и не может не говорить, потому что тогда агональный процесс окажется прерванным» [Шатин, 1996, с. 56].

В этом сочетании нет противоречия, поскольку ирония сопряжена с автором и как бы накладывается на речь абстрактного нарратора, что делает последнюю, по существу, двойственной. Это псевдонейтральная речь.

Ирония, которой проникнута наррация в романе, развернута в самом широком спектре языкового, стилистического и тематического выражения. Так, она может быть ассоциирована с точкой зрения и оценкой героя романа, оставаясь при этом в широких рамках авторской смысловой архитектоники:

По телевизору между тем показывали те же самые хари, от которых всех тошнило последние двадцать лет. Теперь они говорили точь-в-точь то самое, за что раньше сажали других, только были гораздо смелее, тверже и радикальнее (с. 17–18).

Как пишет И. Р. Куряев, «в романе можно обнаружить отдельные фрагменты текста, построенные по принципу внутренней фокализации, которые становятся носителями точки зрения Татарского на среду и представляют собой его монологи, рассуждения, рекламные тексты» [Куряев, 2019, с. 19].

Особое значение в диегетическом конфигурировании советского приобретает ироническая фиксация идеологических следов ушедшей эпохи, на которые то и дело натыкаются персонажи романа:

...пустота внутри <...> бутылки напоминала об идеологической истощенности коммунизма, бессмысленности исторических кровопролитий и общем кризисе русской идеи (с. 110).

Подытоживает тему недавно ушедшего советского саркастическая картина, открывающаяся Татарскому из окна его офиса:

Старые, собранные еще при советской власти «Лады» и «Москвичи» ржавели вдоль тротуаров как мусор, выброшенный рекой времени на грязный берег. Сама река времени состояла в основном из ярких иномарок (с. 218).

Между нейтральным полюсом абстрактной (нулевой) наррации и ироническим полюсом авторской интенции развернуто широкое семантическое и риторическое пространство, в котором реализуется собственно постсоветский дискурс в его критической нарративной стратегии. Первый и самый важный момент его становления заключается в речевой манифестации известного словечка «совок». Именно это уничижительное словцо, на наш взгляд, выступает точкой разделения советского и постсоветского, первую очередь в дискурсивном плане, и в романе «Generation “П”» этот аспект отмечен весьма отчетливо – «зарубкой» в сознании его главного героя:

Что такое «советская ментальность» или сакраментальный «совок», Татарский понимал не до конца, хотя пользовался этим выражением часто и с удовольствием (с. 33).

Впрочем, некоторые подсказки автор все-таки делает – и героям, и читателю:

...пара кроссовок, привезенная дальним родственником из-за бугра, становилась точкой отсчета нового периода в жизни <...> Счастье, которое можно было извлечь из такого приобретения, было безмерным (с. 101).

Ирония постсоветского по поводу товарного счастья «совка» практически автоматична, она словно и не требует авторского творческого усилия, это работа самого дискурса: счастье заключается не в приобретении, а буквально – в обретении кроссовок, как обретении некоего завершающего жизненного смысла.

Завершающий вердикт по поводу «совка» субъективирован и вложен в круг размышлений Татарского о самом себе: это

...не до конца подавленный из себя раб, рудимент советской эпохи. Немного подумав, Татарский пришел к выводу, что раб в душе советского человека не сконцентрирован в какой-то одной ее области,

⁷ Здесь и далее текст цитируется по изданию (Пелевин, 2003) с указанием страниц в круглых скобках.

а, скорее, окрашивает всё происходящее на ее мглистых просторах в цвета вялотекущего психического перитонита, отчего не существует никакой возможности выдавить этого раба по каплям, не повредив ценных душевных свойств (с. 56–57).

Перед нами жесткая критика советского мира в плане личностной структуры «совка» в иронической отсылке к чеховскому контексту и в рамках гротескной физиологической метафоры. Гротескная метафора вообще выступает частым спутником постсоветского иронического, например, в форме стилистически противоречивого и сюрреалистического столкновения деталей:

СССР, который начали обновлять и улучшать примерно тогда же, когда Татарский решил сменить профессию, улучшился настолько, что перестал существовать (если государство способно попасть в нирвану, это был как раз такой случай) (с. 13).

Жесткой иронии подвергаются отжившие символические ценности советского мира, в частности фундаментальная уверенность в «советской вечности», рухнувшей в одночасье. Экзистенциальный страх перед вечностью оборачивается страхом конца самой вечности, и в романе мы видим безжалостную констатацию гибели этой вечности, вложенную в рамки самосознания Татарского:

Когда исчезает субъект вечности, то исчезают и все ее объекты, – а единственным субъектом вечности является тот, кто хоть изредка про нее вспоминает⁸ (с. 16).

Пониманию сложной дискурсивной природы романа способствует раскрытие в его сюжете риторического механизма агональной коммуникации, в частности, в репликах Татарского, обращенных к Ханину по поводу его выступлений:

Смысла никакого, но пробирает так, что сразу всё понимаешь. То есть понимаешь не то, что человек сказать хочет, потому он ничего сказать на самом деле и не хочет, а про жизнь всё понимаешь (с. 154).

Выше, в рамках дискурсивного анализа романа «Чапаев и Пустота», мы также выявляли элементы агональности в публичных выступлениях Чапаева перед солдатами.

Перейдем к характеристике ключевой особенности постсоветского дискурса в его нарративной стратегии. Его основным объектом в романе «Generation “П”» выступает не собственно советское (хотя оно периодически попадает в фокус), а самое постсоветское, в первую очередь – в лице обобщенного потребителя, различными воплощениями которого выступают практически все персонажи романа, начиная с Татарского. Соответственно, основной целью становится не деконструкция советского (оно и так уже само распалось на фрагменты), а разоблачение раннего и первичного постсоветского в форме общества примитивного потребления (концепция «орануса»). Вместе с тем в постсоветском обществе орануса заключено и позднее советское, изжившее себя, растерявшее идеи и уставшее от тотального дефицита как такового. Это, по существу, две стороны одного явления и две стороны наличного дискурса, который становится мишенью. Однако проблема заключается в том, что и сам постсоветский дискурс в романе является неотъемлемой частью своей же мишени. Поскольку его коллективным субъектом остается, по существу, субъект советской ментальной природы, постольку нарративная стратегия постсоветского дискурса неизбежно захватывает и его собственную субъектность, конечно же, с участием авторской метаиронии. Это змея, которая кусает свой хвост. И, по существу, такова общая формула «стеба»: «В отличие от обычной шутки, стеб мимикрирует под язык объекта стеба, критикуя объект “изнутри”, на его территории, его же языком, а не снаружи» [Кугаевский, 2006, с. 145]. Выпутаться из этой дурной бесконечности, как мы отмечали выше, помогает собственно авторская позиция – скорее цинично-аналитическая, нежели оценочно-моральная.

⁸ Чжан Чэндун видит в экзистенциальном для Татарского ощущении утраты советской вечности одну из реализаций более широкой мотиформы «утраты “Я”», выступающей в качестве «сюжетообразующего компонента» романа [Чэндун, 2021, с. 76].

Реализация нарративной стратегии постсоветского дискурса осуществляется и через ироническую речь абстрактного нарратора, и вновь объектом деконструкции выступают реалии постперестроечного мира, феномены которого оказались в нулевой ментальной и ценностной позиции переходного времени: это «напитки “Херши”» со «вкусом победы» (с. 37) и «Кока-кола» со «вкусом свободы» (с. 37), «фольклорный “Мерседес-600” с зачерненными стеклами» (с. 188); «пиджак типа “оргазм плебея”» (с. 208) и др. С пародийными реалиями при этом совмещается гротескный рекламный фантазм, например, в образе «четырех танков», на которых «стоит по Ельцину с цветком в одной руке и стаканом в другой» (с. 93).

Но наступает принципиальный момент истины, открывшийся Татарскому как владельцу «иномарки»:

Вот, взять хотя бы «Мерседес», – вяло подумал он. – Машина, конечно, классная, ничего не скажешь. Но почему-то наша жизнь так устроена, что проехать на нем можно только из одного говна в другое... (с. 219).

Перед нами прямое разоблачающее высказывание, персонифицированное инстанцией главного героя. По существу, постсоветский дискурс здесь разоблачает сам себя. В целом применительно к роману «Generation “П”» мы определяем данный дискурс как носитель риторической энергии сарказма по отношению к советскому и, в соответствии с дискурсивной логикой постмодерна, по отношению к самому себе. Но это не энергия моральной оценки, и поэтому дискурс находится на грани утраты прямого отношения к авторской позиции.

Сквозь различные дискурсивные инстанции романа, будь то прямая речь абстрактного нарратора или речь персонажей, проникает авторское начало. Оно не только выступает креативным основанием эстетической архитектоники романа, что является общим поэтическим условием художественной целостности литературного произведения, но и выражает себя в прямых и косвенных формах авторской оценки, аналитического суждения и авторской рефлексии в целом. В этой связи особый интерес вызывают рефлексии по поводу изменения языка в его социальном и идеологическом измерениях. Так, в прологе к роману в речи абстрактного нарратора находим следующее знаменательное высказывание: «...в те дни в языке и в жизни вообще было очень много сомнительного и странного» (с. 12). Уравнивание «языка» и «жизни» показательно и симптоматично – это, по существу, говорит о точном авторском понимании семиопрагматической природы языка. Более того, «язык» в переходную эпоху становится во многих отношениях сильнее «жизни» как таковой и, сливаясь с ней и уплотняясь, предстает в оболочке и форме дискурса. А многообразие и противоречивость жизни проводят к многообразному смешению дискурсов.

В завершение отметим, что в романе «Generation “П”» развернута целостная концепция взаимодействия дискурса и индивида, сюжетно декорированная в форме откровения духа Че Гевары, явившегося Татарскому при посредничестве волшебной планшеты. В центре этих откровений находится своеобразное определение обобщенного субъекта дискурса, в формат которого включена субъектность индивида, вовлеченного в ментальное взаимодействие с телевидением:

Смене изображения на экране в результате различных техномодификаций можно поставить в соответствие условный психический процесс, который заставил бы наблюдателя переключать внимание с одного события на другое и выделять наиболее интересное из происходящего, то есть управлять своим вниманием так, как это делает за него съемочная группа. Возникает виртуальный субъект этого психического процесса, который на время телепередачи существует вместо человека, входя в его сознание как рука в резиновую перчатку (с. 114).

Ровно то же происходит с индивидом, входящим в сферу социально значимого дискурса как способа и самого осуществления коллективного коммуникативного бытия. Так, например, индивид, выступающий в социальной позиции политика, вынужден строить свою речь во всех значимых аспектах контента, интенций, символики, пропаганды – в соответствии с требованиями политического дискурса, в систему которых входят и ожидания общества, вовлеченного в данный дискурс. Далее:

...виртуальный субъект, замещающий собственное сознание зрителя, не существует абсолютно – он всего лишь эффект, возникающий в результате коллективных усилий монтажеров, операторов и режиссера. С другой стороны, для человека, смотрящего телевизор, ничего реальнее этого виртуального субъекта нет (с. 115).

Развивая наш пример, можно сказать, что обманываются обе стороны: политик думает, что он реален, а это не более чем его социально-дискурсивная роль, обличие. Ровно так же и публика полагает в политике исключительно реального индивида, тогда как на деле это имиджевый продукт дискурса, в который встроен индивид. В этой связке дискурсивных симулякров, по крупному счету, уже нет места реальному человеку, да и не нужен он – разве только самому себе и своим близким, если у них хватит честности или отчаяния осознать эту потерю. Реального человека в его реальной личности замещает виртуальный субъект дискурса с ролевой личиной. В завершение вернемся к тексту романа:

Субъект номер один (т. е. реальный человек. – А. С.) верит, что реальность – это материальный мир. А субъект номер два (т. е. субъект дискурса. – А. С.) верит, что реальность – это материальный мир, который показывают по телевизору» (с. 116).

Отсюда остается только один шаг к тотальному галлюцинаторному миру, в который погружается Татарский в моменты экспериментов с наркотиками и грибами – и в который помещен диегетический мир романа как таковой.

Таким образом, постсоветский дискурс в романах Пелевина «Чапаев и Пустота» и «Generation «П»» не только деконструирует диегетический мир и дискурс советского, но также критически оценивает сам себя, и за этим стоит моральная и аналитическая позиция автора. При этом деконструкция советского, в особенности в романе «Generation «П»», оборачивается конструкцией рекламно-медийного дискурса, отвечающего новой символической реальности постперестроечного российского общества.

Список литературы

- Демин В. И. Исторический роман в постмодернистском исполнении: Виктор Пелевин «Чапаев и Пустота» // *Метаморфозы жанра в современной литературе*. М., 2015. С. 92–112.
- Емельянова Г. В. Категория «правды» в художественной литературе. Анализ романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота» на основе критериев правдивости произведения искусства Р. Ингардена // *Соловьевские исследования*. 2012. Вып. 4 (36). С. 93–109.
- Комовская Е. В. Жанр романа-созерцания как самостоятельная жанровая категория (на примере романа В. О. Пелевина «Чапаев и Пустота») // *Концепт*. 2014. № 10. С. 91–95.
- Кугаевский А. С. Художественная интерпретация товарного дискурса в романе Виктора Пелевина «Generation «П»» // *Критика и семиотика*. 2006. Вып. 9. С. 144–157.
- Куряев И. Р. Фокализация в прозе Пелевина (на материале романов «Чапаев и Пустота», «Generation «П»» и «Шлем ужаса») // *Филологические науки. Вопросы теории и практики*. 2019. Т. 12, вып. 12. С. 17–21.
- Попковский В. В. Буддистские аллюзии в романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота» // *Гуманитарные науки*. 2014. № 2. С. 114–120.
- Сейдашова А. Б. Мотив пустоты в романе В. О. Пелевина «Чапаев и Пустота» // *Вестник РУДН. Серия: Литературоведение. Журналистика*. 2017. Т. 22, № 3. С. 449–456.
- Силантьев А. И. Дискурсная структура наррации в романе Саши Соколова «Палисандрия» // *Новый филологический вестник*. 2025. № 1. С. 40–49.
- Сорокина Т. Е. Феномен преодоления истории в прозе Виктора Пелевина // *Гуманитарные и социальные науки*. 2010. № 2. С. 177–185.
- Чебоненко О. С. Литературные интерпретации жизненных смыслов дзэн-буддийского Востока в произведениях XX в. (на примере романа В. О. Пелевина «Чапаев и Пустота») // *Вестник Бурят. гос. ун-та*. 2011. № 10. С. 164–170.

Чэндун Ч. Мотив утраты «Я» в романе Виктора Пелевина «Generation «П»» // Гуманитарный вектор. 2021. Т. 16, № 1. С. 74–82.

Шатин Ю. В. Фигура ратора в зеркале семиотики // Дискурс. 1996. № 1. С. 56–60.

Список источников

Пелевин В. Generation «П». М.: Вагриус, 2003. 336 с.

Пелевин В. Чапаев и Пустота. М.: АСТ, 2019. 416 с.

References

Chebonenko O. S. Literaturnye interpretatsii zhiznennykh smyslov dzen-buddiiskogo Vostoka v proizvedeniyakh XX v. (na primere romana V. O. Pelevina “Chapaev i Pustota”) [Literary Interpretations of the Life Meanings of the Zen Buddhist East in the Works of the 20th Century (On the Example of V. O. Pelevin’s Novel “Chapaev and Pustota”)]. *Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of the Buryat State University], 2011, no. 10, pp. 164–170. (in Russ.)

Chendun Ch. Motiv utraty “Ya” v romane Viktora Pelevina “Generation P” [The Motif of Losing the “Self” in Victor Pelevin’s Novel “Generation P”]. *Gumanitarnyi vector* [Humanitarian Vector], 2021, vol. 16, no. 1, pp. 74–82. (in Russ.)

Demin V. I. Istoricheskii roman v postmodernistskom ispolnenii: Viktor Pelevin “Chapaev i Pustota” [Historical Novel in Postmodernist Performance: Victor Pelevin’s “Chapaev and Pustota”]. In: *Metamorfozy zhanra v sovremennoi literature* [Metamorphoses of a Genre in the Modern Literature]. Moscow, 2015, pp. 92–112. (in Russ.)

Emelyanova G. V. Kategoriya “pravdy” v khudozhestvennoi literature. Analiz romana V. Pelevina “Chapaev i Pustota” na osnove kriteriev pravdivosti proizvedeniya iskusstva R. Ingardena [The Category of “Truth” in Fiction. Analysis of V. Pelevin’s Novel “Chapaev and Pustota” Based on the Criteria for the Truthfulness of a Work of Art by R. Ingarden]. *Solov'evskie issledovaniya* [Soloviev Studies], 2012, iss. 4 (36), pp. 93–109. (in Russ.)

Komovskaya E. V. Zhanr romana-sozertsaniya kak samostoyatel'naya zhanrovaya kategoriya (na primere romana V. O. Pelevina “Chapaev i Pustota”) [The Genre of the Contemplation Novel as an Independent Genre Category (on the Example of V. O. Pelevin’s Novel “Chapaev and Pustota”)]. *Kontsept* [Concept], 2014, no. 10, pp. 91–95. (in Russ.)

Kugaevsky A. S. Khudozhestvennaya interpretatsiya tovarnogo diskursa v romane Viktora Pelevina “Generation P” [Artistic Interpretation of Commodity Discourse in Victor Pelevin’s Novel “Generation P”]. *Kritika i semiotika* [Critique and Semiotics], 2006, iss. 9, pp. 144–157. (in Russ.)

Kuryaev I. R. Fokalizatsiya v proze Pelevina (na materiale romanov “Chapaev i Pustota”, “Generation P” i “Shlem uzhasa”) [Focalization in Pelevin’s Prose (Based on the Novels “Chapaev and Pustota”, “Generation P” and “The Helmet of Horror”)]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki* [Philological Sciences. Questions of Theory and Practice], 2019, vol. 12, iss. 12, pp. 17–21. (in Russ.)

Popkovsky V. V. Buddistskie allyuzii v romane V. Pelevina “Chapaev i Pustota” [Buddhist Allusions in V. Pelevin’s Novel “Chapaev and Pustota”]. *Gumanitarnye nauki* [Humanitarian Sciences], 2014, no. 2, pp. 114–120. (in Russ.)

Seydashova A. B. Motiv pustoty v romane V. O. Pelevina “Chapaev i Pustota” [The Motif of Emptiness in V. O. Pelevin’s Novel “Chapaev and Pustota”]. *Vestnik RUDN. Seriya: Literaturovedeniye. Zhurnalistika* [Bulletin of RUDN University. Series: Literary Criticism. Journalism], 2017, vol. 22, no. 3, pp. 449–456. (in Russ.)

- Shatin Yu. V.** Figura ritora v zerkale semiotiki [The Figure of the Rhetorician in the Mirror of Semiotics]. *Diskurs [Discourse]*, 1996, no. 1, pp. 56–60. (in Russ.)
- Silantev A. I.** Diskursnaya struktura narratsii v romane Sashi Sokolova “Palisandriya” [Discourse Structure of Narration in Sasha Sokolov’s Novel “Palisandriya”]. *Novyi filologicheskii vestnik [New Philological Bulletin]*, 2025, no. 1, pp. 40–49. (in Russ.)
- Sorokina T. E.** Fenomen preodoleniya istorii v proze Viktora Pelevina [Phenomenon of Overcoming History in Victor Pelevin’s Prose]. *Gumanitarnye i sotsial'nye nauki [Humanitarian and Social Sciences]*, 2010, no. 2, pp. 177–185. (in Russ.)

List of Sources

- Pelevin V. Chapaev i Pustota [“Chapaev and Pustota”]. Moscow, AST, 2019, 416 p. (in Russ.)
- Pelevin V. Generation “P” [Generation “P”]. Moscow, Vagrius, 2003, 336 p. (in Russ.)

Информация об авторе

Алексей Игоревич Силантьев
SPIN 5230-5464

Information about the Author

Aleksey I. Silantev
SPIN 5230-5464

*Статья поступила в редакцию 25.04.2025;
одобрена после рецензирования 12.05.2025; принята к публикации 12.05.2025
The article was submitted on 25.04.2025;
approved after reviewing on 12.05.2025; accepted for publication on 12.05.2025*